

Василий Аксёнов

БЛИКИ,

или

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ОСНОВНОМУ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

По тактичному и доброжелательному требованию хозяйки, неожиданно для нас позволившей за три дня до своего возвращения из одной центральноафриканской страны, где в качестве военного врача находилась в длительной командировке, освободив срочно съёмную квартиру на Большой Пушкарской и «по знакомству» заселившись временно в компактной коммуналке на Большой Зелениной, мы с женой, тогда ещё студенты – я выпускного, а жена четвёртого курса ЛГУ – и шестилетним сыном стали первым делом выносить на свалку разный хлам, скопившийся в комнате после съехавшего недели за две до этого жильца. Оставил я почему-то лишь заинтересовавшие меня две папки для бумаг с бледной – вторая или третья копия – машинописью. Сдавал «госы», защищал диплом, и просмотреть содержимое папок основательно не было времени. Сунул на антресоли и тут же про них забыл. Шесть лет спустя выдалось время. Снимал с антресоли разобранную детскую кроватку и наткнулся на забытые там папки. Жена лежала в роддоме с только что появившимся на свет

вторым нашим сыном, и, чтобы скоротать время тоскливой разлуки, я взялся за чтение. Текст этот, составленный по «монтажному» принципу, – что-то, как мне представилось, вроде набросков для одного романа, двух ли, зарождение и выявление из небытия героя или раздробленное жизнеописание. Первая папка под общим названием «Зазимок», вторая –

БЛИКИ,
ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ
К ОСНОВНОМУ

Говорил авва Алоний:
– Если бы не перевернул
я всего вверх дном, не возмог бы
выстроить здания души моей.

*Египетский патерик,
Об авве Алонии*

А

Может, не так оно и важно, но сказать об этом следует: сидя на диване и глядя в раскрытое окно, Иван видит от Кировского проспекта только верхнюю часть двух домов – сразу за Карповкой, чётного и нечётного, – на карнизах которых днём и ночью, как бакены по фарватеру судоходной реки, белеют большие трёхмерные буквы. И если не рассматривать их врозь, как дорожные знаки на автомобильной трассе, а осознать как выстроенную по чьей-то воле шеренгу и озвучить, получится призыв, кратко выражающий идею руководства.

Иван подумал, будто ночь – обеденная пора, когда сон съедает твоё время, а день – что-то вроде папиросы, которую выкуриваешь до гильзы. Причём не редкость и обмен: сон тебе скупое – время, ты ему – щедро – папиросу, а в довесок вино или водку. Ну и следом: «То, что я думаю, зачастую бывает не умным, не глубоким, а поверхностным. Отсюда делаю вывод, что ум мой – элемент пассивный, действует вынужденно, то есть когда моя личность совершает опрометчиво или готова совершить ошибку, которая и заставляет его, ум мой, срочно

“выглянуть в окно”, а повседневными делами в моей голове заведует не он, а кто-то другой, обученный и назначенный из первой мелькнувшей мысли, от тени ли её, составлять слова или фразы, такие, например: “Смеркается”, “Чего-нибудь поел бы” или “Будет дождь”... Будет дождь... Дождя не будет. Не предвидится. Хотя, в таком-то климате, кто знает...» – отвернулся от окна и вспомнил.

На крыше того, чётного, дома видел он однажды кровельщика. С гибким, громкоголосым, пружинистым листом оцинкованной жести на бритой голове, придерживая лист руками, шёл кровельщик вдоль ряда белых букв и был с ними вровень. Крышу он латал за гласной «Я».

«Интересно, – подумал Иван, – чем заняты несколько миллиардов нервных клеток моих ленивых мозгов в свободное от капризов самонадеянной единицы “я”, моей персоны, время?»

Взяв ручку, Иван записал:

«Сегодня утром Ион звонил в Елисейск, говорил с Осей, хотел узнать об отце. Ося сказал:

– Я выпросил машину в дэрсэу и вывез ему из леса дрова.

– Все?

– Все. До последнего полена. Там оставалось-то...

– Немного.

– Да не заботься ты, не беспокойся, до осени протянет. Летом – суп сварить, чай подогреть да баню истопить, сам знаешь... Хламу полно кругом, гнилья – топи. Не лютые морозы.

– Осенью приеду, напилю, – сказал Ион. – Ичто?

– Ничего, – сказал Ося, – выпили с ним, посидели и...

- Я не расслышал. Громче говори.
- Жаловался, говорю, на вас.
- А-а, – сказал Ион. Спросил, помедлив: – Плакал? Чуть только выпьет...
- Нет, ругался, – сказал Ося. – Ну, не ругался, а ворчал. Не пишет, говорит, никто. Тебя, скорей всего, в виду имел.
- Понятно, – сказал Ион. – А у тебя как? Дети? Танька?
- Нормально... только...
- Что – только?
- Так, не знаю... да, нормально.
- Что, что?
- Помнишь, рассказывал тебе про звезду... в окне?
- На гараже?
- Ну да, на бывшей церкви. На Седьмое воздвигали...
- Помню. И что?
- А тут увидел дальше...
- Увидел? Что увидел? Ты про что?
- Да как-то... ладно, ерунда. Я лучше, будет время, напишу. Обдумать надо...
- Ыш... ыш... опять плохо слышно, как из-за стенки.
- Не знаю. Мне – хорошо, как будто рядом.
- Алё! Что ты увидел?! Ыш!
- Я слышу, слышу.
- Ты что увидел там опять? – и телефонной трубке: – Эй...
- Да я про память... мы с тобой об этом говорили... Отчим поднимается...
- Ну? Теперь слышу, продолжай.

– ...идёт к постели... помнишь, кровать у нас стояла, мы после унесли её в сарай, – говорит Ося. – Да ерунда всё это. Напишу...

Ион кричит:

– Это не память, э, алё, Ося, ты слышишь? Это не память, Ося, это – сон...

И голос женский:

– Время закончилось, разъединяю.

– Да погоди! – телефонистке так Ион. Повесил трубку.

Было это утром; но и сейчас, а дело к вечеру, Ион, продолжает мысленно прерванный разговор. Он и сейчас пытается в чём-то убедить, переубедить ли Осю. Ложно это всё, неубедительно. Истина увиливает. Здесь, пожалуй, проще: увилывать ей помогает он, Ион...»

– О, Господи.

Вздохнул.

От солнца не спрячешься: бьёт напрямую. Силу набрало немалую. В комнате жарко, душно, и это несмотря на то, что настезь распахнуто окно. Нет движения в воздухе, замер. Взвесилась в нём пыль, млеет, к покою благоволя. Занесло с улицы большую зелёную муху. Стала муха таранить стены и потолок, проявляя безразличие к полу. Потом, так ни разу не присев, резко пошла в пике и покинула комнату. «Хорош выпендрёж, – подумал Иван. – Счастье твоё, что здесь я, а не мой отец. Тот сразу бы оставил все дела, закрыл бы окно, а уж тогда и шут с ней, с известкой или штукатуркой, тем более что сам никогда не штукатурил, не белил. Мух и ворон отец не переносит на дух», – подумал Иван. Сказал отец как-то: «Вот

уж терпеть-то не могу кого... Бомбёжка, пылища, скотский род, гарь – не продохнёшь, живот солдату разорвало – одни облепили, кровь ещё тёплую пьют, другие, каркая, потроха тащут, тьфу ты пакость! Управу б кто на них сыскал какую, что ли. Не будь их, я бы не заплакал, и мир без них не обеднел бы, без этих тварей».

Иван подумал: «Дарий в небо запускал стрелу, а Ксеркс бичевал море».

Соседка Марина готовит на кухне ужин. Уха из килек в томате. В большой кастрюле, которую Марина называет «вываркой». На неделю – таков срок годности. Иной раз не хватает.

Скоро с работы придёт её гражданский муж, Кирилл, – обедать.

Кирилл: «Ваня, не пей много портвейну – зубы выпадут. Как у меня». Зубы у Кирилла: половину «выбили в ментовке», остальные «сгнили на зоне». Носит какие-то – когда во рту, когда в кармане. Лежат, бывает, на полу. Кто найдёт, отдаёт их Кириллу. Сполоснёт их Кирилл под краном, сунет в рот или в карман – по ситуации.

Иван подумал:

«Я назвал бы это так: эффект сновидения – то видишь героя со стороны, то становишься им», – затем представил сорвавшегося вместе с буквой «Я» с крыши кровельщика и передёрнулся.

«Днём очень трудно сосредоточиться», – подумал Иван, но писать себя заставил.

«Прошлым летом в Бегуницах, что по Таллинскому шоссе, раскопал я курган с захоронением девочки – «Колдуньи», названной так потому, что погребение сопровождалось многочисленным и – для здешних

мест и для тех летописных времён – богатым инвентарём. Но не в этом дело. За каменной кольцевой обкладкой обнаружил я кучу битой керамики. Были там фрагменты скупо орнаментированных стенок – «насечка», «ёлочка», вот весь узор, – стенок без орнамента вовсе, были там целые и drobные венчики, а вот днища – ни одного. Первое предположение, что пришло мне в голову – в ней, кстати, до сих пор и остаётся по заслугам – было таким: захмелевший финн или славянин новгородский, а то и волхв чудской – батюшка почившей безвременно «Колдуньи», свершая тризну, сидел на валуне и, горем омрачённый, колотил об валун горшки, а отвалившиеся при этом доньшки метал в избранную им бездумно мишень или швырял их бесцельно: такой формы предмет сам просится, чтобы его куда-нибудь подальше зашвырнули. И уже зимой, в институте, с удовольствием наблюдал, как найденную мной средневековую посуду, срисовать да обмерить которую я и пришёл, любовно склеивала лаборантка. Замечательные получились сосуды, почти как перевозданные, если не переворачивать их и не смотреть на свежее гипсовое дно. Нового ничего посуды не дали, ничего особенного от них никто и не ждал, но на старую теорию и на мою дипломную работу, вернее, на объём её, сработали. Там же, в камералке, пока я рисовал, выпили мы с лаборанткой кофе, потом закурили, а выпив кофе и закурив, словам нелегко воспрепятствовать.

– Шлифовать ещё, – как о заветной мечте сказала лаборантка, затем стряхнула в один из горшков пепел и говорит:

– А этот я собрала произвольно.

А я – чтобы и разговор поддержать, и как бы в благодарность за кофе:

– Да?! – говорю. А изумление моё тут и не выразить.

– Уже не видно, но, безусловно, от разных, – говорит лаборантка. – Дресва в тесте и толщина обломков неидентичны, но всё равно – милый. Правда?

– Да, – говорю я и думаю: «Правда, правда, пятый раз, говорит Илья, с пятым пунктом, на нашу кафедру поступать будет, а поступит, закончит, говорит Илья, и снова горшки станет склеивать».

«А она ничего, старичок, сексапильна», – говорит о ней Илья. «Хрен её знает», – думаю я.

И она что-то подумала – брови выдали, а потом говорит:

– Себе оставлю, на память... Все пепельницы растащили археологи.

– Оставь, – говорю, – ценности не представляет. – Ёкнуло сердце, исправился: – Научной... Хороший кофе, – говорю, – спасибо. Крепкий.

А когда был уже за порогом, в не закрытую ещё дверь, обернувшись, и соврал: «Чуть не забыл, привет тебе от Ильи», – а как расцвела она там, побледнела ли, не видел.

Вот и с прошлым моим, как с горшками, поступает время, а память моя, как лаборантка, мудрит над горой обломков, воспроизводя вторично, но точно, если постарается, конечно, то и так: мило, для себя, чтобы пепел было куда стряхивать... (тут те дни, естественно, которые как папироса...)

И сейчас, понадобился мне один эпизод из детства, в памяти его воспроизвёл и почти уверовал в точность копии, но тут же и подозрение роди-

лось: много гипсовых заплат на моём горшке – это так, много склеек – никуда не денешься, ну а фрагменты – все ли они родные, одного ли замеса в них дресва? Впрочем, что уж там, другая у горшка миссия, исполнить которую он и в этом облике сможет.

Ночь кромешна и глуха. Окна не занавешены – беззащитны, и если б не тугой, толстый кресенский куржак с растительным узором на хрупких от стужи стёклах, мрак да беззвучие улицы, легонько вздохнув, выдавили бы их, раскрошив, как тонкий ледок, и ввалились бы в избу творить в ней смерть. По белёному с синькой потолку и в синее крашенной стене-казёнке кухонного прохода снуют, ликуя и кривляясь, огненные блики – топятся обе печи; у буржуйки худые, щелястые бока, а у русской зёв не прикрыт заслонкой, оттого и воля такая бликам, оттого и разгул их шаманский – готовы прыгать друг по дружке, что и делают. Из-за сильных, под шестьдесят, морозов печка-жестянка гудит, не стихая, а русскую мама долго калит и кушает лишь под утро, иначе всё жидкое в доме пешней да топором станешь добывать. На столе только лампа да хлебница. Тень от хлебницы стекает на пол, но не отвесно, а под углом – свет с фитиля мощностью своей хоть и невелик, да всё одно: тень для него, что пух для сквозняка. Свою круглую тень-печать лампа хоронит под собой – ничем её оттуда не выгонишь, разве что лампу приподнять да фонариком припугнуть, выгонишь, но не навсегда: фонарик выключишь – она и вернётся, или так: прогнал, успокоился, а потом мимо проходил, приподнял зачем-то лампу и ахнул: она, тень, уже сно-

ва там. За столом, левую руку устроив на подоконник, а правую – на спинку стула, в расстёгнутом милицейском мундире сидит отец. Волосы у отца блестят – влажные и причёсаны – только что гребень костяной отложил на буфет. На ногах отца белые китайские валенки, пользуемся которыми в его отсутствие по очереди мы все и называем их тараями. Тёплые, лёгкие и уютные, жаль только, что на лыжи в них не встанешь – юксы не сходятся, – так широки тарай в основании. Если лежат, подсыхая, у печки и заняты лишь нагретым воздухом, спать в один из них забирается котёнок. Возле порога зябко и скукоженно покоится, обмякая и приспособляясь к теплу после мороза, заиндевелшая доха. Доха из собачьих шкур, сшитых суровой ниткой, без всякой подкладки. А это уже не по памяти, а по домыслу, из чужих рассказов, наверное, склеено, это – гипс: отец только что приехал, распряг коня, задал ему сена, накрыл попоной, затем вошёл в дом, умылся и теперь ждёт, когда мама разогреет ужин и приготовит на стол. Отец тих, потому что трезв, коли и был пьян, так за дорогу выветрилось. Бриться он будет завтра, а пока его щёки почти до самых глаз в пегой частокольной щетине. Иногда, в хмельном благодушии, такой вот щетиной, играясь, отец заласкивал меня до слёз: шоркая ею по моему лицу и больно сжимая голову, спрашивал: «Кого больше любишь, меня или мамку?» – на что ответ давно мне подсказал житейский опыт: «Баушку», – а какую, уже и не важно. На большой деревянной кровати стоит мальчик, укутанный в клетчатую суконную шаль, называемую у нас шотландкой. Под шалью газета и медовый

компресс, мёд впитался в тело, газета хрустит. Мальчик испуганно смотрит на доху, тычет в её сторону пальцем и что-то бессвязно бормочет. Бессмысленно спросонья усталились на мальчика его разбуженные брат и сестра, как куры на насесте ночью, когда их ослепишь фонариком – так же. Кровать у детей общая: место сестры в изножье, и лоскутное одеяло одно на троих. Выходит из кухни мама, ставит на стол тарелку с пельменями или с супом, кладёт рядом ложку и говорит: «Соль в столе... Оставил бы её там, в сенях, свою доху, псиной тянет – не продохнёшь, или в баню бросил бы, – и, направляясь к мальчику: – Вечером ещё прыгался – не унять. Температура, смеряла, – под сорок». – «На улицу, наверное, в одной рубашке выскакивал... взял моду – всыпать надо», – говорит отец и начинает шумно есть. Мама в ответ: «Ты всё бы и всыпал». Мальчик этот, конечно, я, болезнь – простуда и очередное воспаление лёгких, картина снята в Каменске-Кемском, вывезена как трофеей, затем забыта, а в данный момент восстановлена памятью и воображением.

А там же ещё, но позже:

С затупевшей тоской и смирением смотрю в окно на липнущий к стёклам оттепельный снег, на задорно играющих возле Сушихиной избы собак и детей, на скачущих весело по берёзе щеглов и синичек, рассеянно слышу, как такают новые – потому и слышу, что новые, потому и вздрагиваю каждый раз, когда вздумают бить – стенные часы, которые малое время спустя мы с братом разберём, а собрать не сумеем, чем очень «развеселим» отца и, бегая от него, развеселимся сами;

слышу и то, как в привязанную за горло бутылку из переполненного корытца оконной рамы струится вода от растаявшей наледи, как поскрипывает на оси колесо самопряхи, посвистывает шпулька и шуршит по подолу маминой юбки юркое веретено. А потом – мамин голос. Так, издали как будто. Будто и срок миновал немалый, пока звук до меня дошёл. От заделья не отрываясь, мама взглядывает на меня и говорит:

«Чё ж ты, парень бравый, пригорюнился, что головушку повесил? Про сон опять, никак, свой думаешь? Вот беда... Расскажи его кому-нибудь... мне или Кольче... Вон чё репя-то с этой пряжи – целый ворох, сколько пыли... Придут из школы, ты и расскажи. Он ведь и пристаёт к тебе поэтому... не в ту голову попадает, а попадёт куда надо – и отстанет. Спите-то вы рядом, он и ошибается... Не веришь? А всё так говорят, в народе знают. Послушай-ка вот присказку...» Не слышу присказку – уснул.

Маме, брату, сестре, даже отцу, согласись тот слушать, – кому угодно передал бы я тот сон, лишь бы с ним распрощаться, но как это было сделать? Слов и сейчас мне не найти – сном этим был кошмар, кошмар бесфабульный, гнетущий.

И там же, но ещё позже:

Вернувшись месяца через два в школу и увидев своего однопартника, хранившего моё место, спросил его:

«А почему ты ни разу не был на Сушихиной горе, Ося?»

Ося, набычившись, ответил:

«Санки ловчился мастерить. После школы пойдём, захватишь...»

«Снег сошёл почти. Какие санки!»

«Ну и чё что... смешной ты, зима последняя ли, чё ли!»

Уставившись на чёрную дыру в обоях, Иван сказал:

– Не память это, Ося, это – сон, – а после так: закурил и, щурясь от дыма, продолжил:

«Нынешнее сновидение мне не докучает, нет необходимости особой от него избавляться, явилось туда, куда и намеревалось, ситуации редко случаются, когда оно могло бы заблудиться, а если и случаются, то всё равно предпочитает мою голову, но вот в чём беда: дубль его то и дело прокручивается перед глазами и мешает собраться с мыслями, только поэтому я и решаю, что так будет лучше, – перескажу сам себе сюжет ночного наваждения, а выполнить это не так уж сложно.

Занятия не на кафедре, а в Эрмитаже, что и в действительности, хоть и не часто, но случается. Гросс – в ладном сером костюме, аккуратен, подтянут, мал ростом, в противоречие своей фамилии, но не суетлив, так – как и наяву – азартно сверкая за толстыми линзами очков карими семитскими глазами, читает нам лекцию: скифский звериный стиль. Слушая его стройную, авторитетную речь, я отхожу от группы и следую вдоль экспонатов. Голос у Гросса басистый и громкий – внимания не напрягаю. Сворачиваю за колонну и останавливаюсь возле незастеклённой витрины. На этикетке легенда: «Золотой инструмент из кургана Куль-Оба. «Холм Пепла», – уважительно произносит Гросс, оказавшийся вдруг рядом. Смотрю и вижу, без удивления: на красном бархате лежит саксофон. Беру в руки,

с восторгом чувствую вес, пытаюсь играть, а из его плавающего на свету царских люстр устья выползает гибкая, чёрная, с искрящейся остью, похожая на маленькую пантеру со скифского украшения, кошка. «Гешмейдиг ви айне катце!» – кричит смотрительница, чем как бы и будит меня.

И вот в чём уверенность моя: сон вещей, пророчество его угадываю в том, что сбудется мечта кладоискателя – и рано или поздно отыщу я мифическую страну Биармию, – я уж и к богу их, биармаландцев, за позволением обратился, но молчит пока Йомали, не подаёт мне знак, видно, кару ещё за кошунство моё не обдумал, – затем покончу с археологией, как с полевой, так и с кабинетной, – таков мой залог для Йомали – от всех забот житейских отстранюсь, куплю саксофон и стану к душе его золотой или серебряной подъезжать, оболещу, обласкаю, обманом возьму, но умысел исполню, а уж, душой овладев, и приневолю – заставлю её пропеть мелодию, похожую на ту кошку, которая явилась ко мне во сне. Как я и говорил, масти эта кошка чёрной, ость с искрой, а цвет её глаз... но это уже смешно...»

И там, во дворе-колодце, шум фабрики заслонив, кто-то гулко захохотал.

«Этим, пожалуй, и закончу, – подумал Иван. – Но это уже сюда...» – другую взял тетрадь, открыл её и записал:

«Во дворе засмеялись. Смех знакомый – встречай гостей. Крикнут: “Валя!” – значит, ко мне. Пятый этаж – кому не лень без лифта тащиться впустую: войдут во двор, пролают – ночь-полночь – махну им рукой в окно, тогда уж и поднимутся. А “Валя” – это

для жильцов, чтобы, разбуженные, проклинали не меня, Ваню, а какую-то там Валю. Дом наш конспиративный, с табличкой мраморной, с гвоздиками на ней, тут по традиции...»

Однако:

– Ва-ля!

КОНЕЦ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО ФРАГМЕНТА